Павлова Ольга



Последняя зима на Корге

православная повесть

18+

Ольга Павлова

«Последняя зима на Корге»

«Автор»
2026

Павлова О. В.

«Последняя зима на Корге» / О. В. Павлова — «Автор», 2026

На заброшенной песчаной косе Корга, отрезанной от цивилизации ледяными просторами Ледовитого океана, сходятся три израненные судьбы. Бывший школьный учитель Александр Андреевич, потерявший семью на городском перекрестке; спившийся инженер-метеоролог Семен, виновный в катастрофе на плотине; и немая местная девушка Таисья, чей родной дом сожгли жестокие браконьеры. Каждый из них бежал на этот суровый остров не жить, а заживо похоронить себя вместе со своим горем, виной и обидой.Когда единственная зимняя переправа рушится, а внезапный пожар уничтожает метеостанцию, героям приходится перешагнуть через границы своего эгоистичного одиночества. Сгрудившись в одной избе, деля последние крохи муки и пресные лепешки, они заново учатся быть людьми. Спасение утопающего во льдах, выхаживание обгоревшего товарища, милосердие к раненому полярному волку и обретение старинного, истлевшего молитвослова под половицей заброшенного Смоленского храма Одигитрии медленно переплавляют их искалеченые сердца.

© Павлова О. В., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Часть I. Клеймо сиротства 12
Конец ознакомительного фрагмента. 14

Ольга Павлова
«Последняя зима на Корге»

«Не бойся безмолвия и глуши,
ибо на краю земли,
где умолкают человеческие голоса,
начинает говорить Сам Бог.
Человеческий суд слеп и подкупен,
но Суд Божий неотвратим,
а милость Его к кающимся — бездонна».
— Из древних патериков

Предыстория: Пути на Коргу

За каждым побегом на край земли стоит катастрофа. Корга не принимала случайных людей — ледяная коса намывала свой невидимый монастырь только из тех, чья прежняя жизнь на материке была сожжена дотла. Задолго до той ночи, когда рухнул зимний настил, каждый из троих прошел свой собственный крестный путь к заброшенному поселку.

1. Александр Андреевич. Цена молчания

В прошлой жизни Александр Андреевич бывал в храме редко — разве что заходил поставить свечу перед началом учебного года. Он был образцовым учителем истории в элитной гимназии областного центра. Коллеги уважали его за безупречный каллиграфический почерк и феноменальную память, а ученики обожали за то, что древние эпохи оживали на его уроках. Его личное благополучие помещалось в четырехкомнатной квартире с окнами на старый парк: любимая жена Елена, преподававшая музыку, и тринадцатилетняя дочка Даша — тоненькая, как церковная свечка, бредившая рисованием. Всё закончилось в светлый майский четверг, прямо на пешеходном переходе у гимназии. Черный тяжелый внедорожник, летевший на красный свет, снес Елену и Дашу на глазах у выходившего с работы учителя. Удар был такой силы, что Дашины рисунки, выпавшие из папки, еще долго кружились над асфальтом, испачканные красным. За рулем джипа сидел двадцатилетний сын областного вице-губернатора, пьяный и невменяемый.

Александр Андреевич не кричал. Он замолчал. Внутри него словно выключили звук жизни. Полтора года длился судебный фарс. Свидетели внезапно меняли показания, записи с камер исчезали, а адвокаты подсудимого с гладкими, сытыми лицами доказывали, что женщина с ребенком «переходили улицу в неположенном месте в условиях плохой видимости». Убийца получил условный срок и уехал «на лечение» в Швейцарию.

В день оглашения приговора Александр Андреевич вернулся в пустую квартиру, собрал в чемодан только смену белья и потемневшую от времени икону святителя Николая — благословение покойной матери.

Александр Андреевич сидел на полу в прихожей своей просторной четырехкомнатной квартиры. Вещи на вешалке еще хранили едва уловимый запах духов Елены и яблочного шампуня Даши. На полу лежали нераспечатанные конверты с судебными повестками.

Он не зажигал свет. В темноте его голос звучал чужой, глухой, словно трескающийся под шагами лед.

— Вот и всё. Дверь закрыта. Тихо-то как... Господи, почему так тихо? Раньше Даша вечно возилась, карандаши сыпались. Лена чайник ставила... Где это всё? Куда оно делось за одну секунду?

Он посмотрел на свои руки. Они были целы. На нем не было ни единой царапины.

— Почему я живой? Я же шел в двух шагах сзади. Всего два шага! Задержался у крыльца, журнал в портфель убирал. Из-за какого-то паршивого журнала я дышу, а они... они накрыты серой пленкой на асфальте. Юрист этот... адвокат... в глаза мне смотрел сегодня и улыбался. «Ваш случай подпадает под смягчающие обстоятельства». Смягчающие? Для кого?! Для твари, которая даже не поняла, кого растоптала своими колесами?

Он прижал ладони к лицу, но слез не было. Внутри выгорело всё, осталась только сухая, едкая зола.

— И ты молчишь, Господи? Моя мать говорила, что Ты справедлив. Что Ты видишь каждую птицу, упавшую с неба. А двух моих ангелов Ты не заметил? Или Тебе просто всё равно? За что Ты ударил меня? Чем я так прогневал Тебя, что Ты оставил меня догнивать в этой пустой коробке?

Александр Андреевич поднял глаза на угол, где в темноте угадывался силуэт старинной иконы Николая Чудотворца.

— Не могу здесь больше. Каждый угол кричит. Каждая книга... Зачем мне теперь история? Зачем мне знать, как рушились империи, если моя личная вселенная превратилась в кровавое месиво за один майский полдень? Уйти надо. Дальше, туда, где людей нет. Где никто не спросит: «Как вы себя чувствуете, Александр Андреевич?» Где только ветер и вода. Может, там, на самом краю, я наконец оглохну. Может, там Твой молчаливый суд будет честнее, чем этот человеческий цирк.

За месяц он продал квартиру, чтобы она не напоминала ему больше о горьком прошлом, раздал сбережения в детский дом и просто пошел на вокзал. Ему нужно было уехать туда, где законы человеческие уступают место законам природы. Туда, где слово «справедливость» не звучит как издевательство.

Об этом месте — Богом забытом острове Корга — Александр Андреевич когда-то, в прошлой, сытой и благополучной жизни, случайно услышал от своего дальнего приятеля, заядлого путешественника и этнографа. Тот возвратился из заполярной экспедиции восхищенный и напуганный суровой красотой здешних мест. Приятель часами рассказывал за чаем о песчаной косе, зажатой между бескрайней материковой тундрой и суровым Ледовитым океаном. «Там земля, Саш, словно истончается, — увлеченно говорил он, чертя пальцем по скатерти. — Там людей почти нет, законы городов не действуют, только стихия, вечность и первозданная тишина. Настоящий край света». Тогда, в тепле городской квартиры, Александру эти речи казались красивой романтикой. Но, сейчас, когда его личная вселенная превратилась в кровавое месиво за один майский полдень, эти слова всплыли в памяти спасительным якорем. Александр Андреевич твердо решил: поеду именно туда. Подальше от сытых судей, от фальшивых соболезнований, от человеческого муравейника, который продолжал шуметь, словно ничего не случилось. Ему нужно было место, где можно оглохнуть от собственного горя.

… Корга встретила его именно такой, какой её описывал путешественник — суровой, молчаливой и пугающе прекрасной. Остров представлял собой узкую, вытянутую на несколько верст песчаную косу, омываемую с одной стороны темными, тяжелыми речными водами, а с другой — безжалостным Ледовитым океаном. Летом этот клочок земли казался зыбким и ненадежным: яростные шторма слизывали береговую линию, обнажая корни покрученных карликовых берез и потемневшие от соли валуны. Вся растительность здесь состояла из жесткого брусничника, серого мха да редких зарослей полярного ивняка, прижатых ветром к самой земле.

Здесь не было ни сотовой связи, ни дорог, ни человеческого жилья — только крики полярных птиц, свист ветра в жухлой траве да одинокий силуэт старого навигационного знака на горизонте. Это было идеальное убежище для того, кто жаждал абсолютного одиночества

На Корге, когда-то счастливый учитель надеялся онеметь, чтобы не слышать в себе грызущего вопроса: «За что…?».

2. Семен. Инженер-метеоролог.

Семен не всегда пах перегаром и сырой овчиной. Десять лет назад он был Семеном Петровичем — главным инженером смены на огромном водохранилище, регулировавшем сток сибирской реки. Человек жесткий, волевой, гордый своей незаменимостью, он презирал слабость в людях и верил только в сухие цифры приборов.

Его личная жизнь трещала по швам: жена ушла, забрав сына, устав от его тяжелого, деспотичного характера. В тот роковой апрельский вечер Семен отмечал свое одиночество прямо на рабочем месте. В каптерке у него стояла заветная бутылка спирта.

Ближе к полуночи начался резкий паводок — в горах потеплело, и малые реки сбросили в водохранилище миллионы тонн талой воды. Датчики на главном пульте начали мигать красным, требуя немедленного, порционного открытия шлюзов. Но Семен Петрович спал тяжелым, беспробудным сном алкоголика, уронив голову на чертежи. Напарник-молокосос испугался брать на себя ответственность и не решился будить грозного начальника.

Когда Семен открыл глаза, было поздно. Автоматика сработала сама, но с критическим опозданием. Произошел лавинообразный, неконтролируемый сброс. Огромная волна пошла вниз по течению, снося прибрежные постройки. В пяти километрах ниже находился рыболовецкий поселок. Вода пришла туда ночью, в полной темноте. Смыло три дома. Погибли люди, в том числе двое маленьких братьев-близнецов, спавших на веранде.

Начальство гидроузла, спасая честь мундиров, свалило всё на «стихийное бедствие и отказ автоматики». Семена не посадили, но уволили по собственному желанию в тот же день. Когда он уходил, мать погибших мальчиков плюнула ему в лицо у проходной.

Плевок стек по щеке, но Семен даже не поднял руки, чтобы утереться. Он смотрел в пустые, безумные от горя глаза женщины и понимал: она права. Автоматика могла отказать, начальство могло переписать протоколы, но у задвижки в ту роковую ночь стоял именно он.

Он повернулся и пошел прочь от проходной. Шаги казались свинцовыми. За спиной остался грохот гидроузла — звук, который теперь всю жизнь будет сниться ему в кошмарах, оборачиваясь криками из бурлящей воды. Семен вернулся в свою пустую квартиру, запер дверь на все замки и сел на пол прямо в прихожей. В кармане куртки лежала трудовая книжка с волчьим билетом «по собственному желанию» и расчетные деньги, которые казались тридцатью сребренниками. Впереди была бесконечная, глухая ночь, и Семен впервые в жизни отчетливо понял, что бежать ему некуда — от самого себя не уедешь.

Этот плевок выжег в его душе всё. Семен пытался умереть от водки, но крепкое сибирское здоровье не подводило.

Семен сидел на корточках в углу бытовки, спиной к запертой двери. На столе, под тусклой, незащищенной лампой, орала рация. Ее вызывали с узла связи управления, из министерства, из района — но Семен сорвал провод, оставив только сухой, захлебывающийся треск чужих голосов.

Рядом, прямо на затоптанном линолеуме, стояла открытая бутылка спирта-ректификата. На пальцах Семена еще не высохла мазутная грязь: он пытался вручную провернуть заклинивший ворот шлюза, когда было уже слишком поздно. Было слышно, как за окном, внизу, у подножия плотины, ворочается и ревет сытая, вырвавшаяся на волю вода.

— Спишь, Семен… Спишь, Петрович… Напоили тебя, несчастного, — Семен заговорил сам с собой, глухо, почти беззвучно, царапая ногтями колено. — Затопило… Нижний поселок затопило. Веранды смыло. Ребята дежурные прибежали, орут: «Петрович, там Вовка с Мишкой, близнецы Потаповы, на нижней косе жили… Нету косы».

Он схватил бутылку, плеснул спирт прямо в горло, даже не поморщившись, словно это была холодная вода. Огонь пошел по пищеводу, но тупую, ледяную тяжесть в груди не выжег.

— Я же слышал… Слышал, как зуммер пищал. Сквозь сон слышал. Думал — будильник. Думал — жена бывшая ворчит… Руку протянул, выключил тумблер и дальше завалился.

Инженер первого класса… Гордый! «Да я эту плотину наизусть знаю, она без меня стоять будет». Вот она и постояла. Без меня.

Он поднял глаза на свои широкие, мозолистые ладони. Они мелко, крупно дрожали.

— Чистенький… Управление дело замяло, «форс-мажор» написали. Сводка погоды, аномальное таяние… Свои же шкуры спасали, чиновники кабинетные. Начальник обнял: «Иди, Петрович, от греха, пиши по собственному, мы тебя не сдадим». А куда мне идти?! К Потаповой? Которая у проходной на коленях выла?

Семен с силой ударил кулаком по стене бытовки. Хлипкая фанера треснула.

— Куда мне теперь эти руки девать? Ими только петлю вязать. А сдохнуть — страшно. На тот свет придешь, а они там стоят, маленькие, мокрые… И смотрят. Чего молчишь, Господи? Если Ты есть, почему меня прямо на этом пульте молнией не выжгло? Почему я дышу этим спиртом, а они там, под корягами в протоке, рыбу кормят? Зачем Ты меня оставил?!

Он снова припал к бутылке, но хмель не брал. Совесть, до сих пор спавшая под анастезией гордыни, проснулась и грызла его заживо.

— Бежать надо. На самый край, где людей нет. Где воды этой проклятой нет — чтоб только лед. Спрятаться под корягу, зарыться в сугроб, чтоб ни одна душа не нашла. На метеостанцию пойду, на Коргу эту... Там рации нет, людей нет. Может, заморозит меня там. Может, там эта гарь внутри утихнет…

Семен поднялся, шатаясь, пнул пустую бутылку и, не собирая вещей, прямо в грязной штормовке вышел в сырую, пахнущую катастрофой апрельскую ночь.

… Он завербовался на самую глухую, труднодоступную гидрометеостанцию — на Коргу. Он уезжал с одной мыслью: запереть себя в ледяную одиночную камеру, где не будет людей, которым он может навредить. Но вместо спасения он привез на Коргу свой собственный, не засыпающий пульт, который каждую ночь напоминал ему о цене его сна в ту злосчастную ночь.

3. Таисья. Потерянный зверек.

Таисья родилась в тундре и до шестнадцати лет не знала, что мир бывает большим и злым. Ее семья принадлежала к роду оленеводов. Отец, братья и она жили в стойбище у притока северной реки. Они молились Христу, но по-своему, по-таежному, почитая Николая-угодника за главного защитника от волков и голода. Тая была звонкоголосой, пела старые песни и умела по звуку шагов различать диких животных.

Всё рухнуло в один осенний день, когда к стойбищу на вездеходах выкатились браконьеры — сытые, вооруженные до зубов люди из далекого северного города, приехавшие пострелять дикого оленя ради забавы и дорогой пантовой крови.

Отец Таисьи встал на пути их машин, защищая стадо. Его застрелили прямо в упор, не выходя из кабины. Когда старшие братья бросились к ружьям, завязалась короткая, бойня. Браконьеры, испугавшись содеянного и будучи пьяными, решили не оставлять свидетелей. Они подожгли чумы, добили раненых и сбросили тела в реку.

Таисью, спрятавшуюся в загон для телят, нашли последней. Один из нападавших, сжалившись или побоявшись убивать девчонку, сильно ударил ее прикладом по голове и толкнул в ледяную воду протоки: «Сама замерзнет, греха меньше».

Она не замерзла. Вода вынесла ее на песчаную косу в паре километров ниже. Но пережитый ужас, вид горящего дома и удар прикладом сотворили страшное: очнувшись, Таисья поняла, что ее голос исчез. Из горла вырывался лишь сиплый вздох. Она потеряла не просто речь — она потеряла связь с человеческим родом.

Два года она скиталась по тундре как призрачная тень, пока не набрела на Коргу, где к тому времени доживали свой век последние старики-рыбаки. Когда старики умерли, а молодежь уехала, Тая осталась. Коса стала ее крепостью, где никто не мог причинить ей боль, потому что здесь просто некому было это сделать.

Таисья не умела думать словами — она думала запахами, звуками и цветами. В её памяти тот день навсегда остался ядовито-рыжим, пахнущим бензиновой гарью и запекшейся кровью.

Ей снилось стойбище. Раннее осеннее утро, когда над рекой стелется густой, кисельный туман, а мох под пимами звонко хрустит от первых заморозков. Отец сидел у костра, точил на оселке охотничий нож. Сталь тихо пела: *вжик, вжик*. Старшие братья, по колено в ледяной воде, чинили нартенную упряжь. Всё было мирным, вековечным, правильным. Николай-угодник смотрел со старинной медной иконки, прибитой к шесту чума, и его лик казался Тае лицом родного дедушки.

А потом тундру разорвал чужой, утробный рык.

Из тумана, подминая карликовые березки, выкатились железные чудовища — тяжелые вездеходы на огромных колесах. Из них посыпались люди в пятнистых куртках. Они смеялись, кричали громкими, лающими голосами, от которых у Таи заложило уши. Отец встал, поднял руку ладонью вперед — знак мира. Он пытался что-то сказать им про оленье стадо, про то, что нельзя стрелять маток перед зимой.

Один из пришлых — сытый, с красным лицом и золотым зубом — даже не дослушал. Раздался короткий, сухой треск, похожий на щелчок бича. Отец удивленно посмотрел на свою грудь, где на оленьей малице быстро расплывалось темное пятно, и медленно, боком повалился на брусничник.

Братья закричали. Тая помнила, как рванулся старший, Микула, дотягиваясь до ружья, но железный грохот повторился снова и снова.

Всё завертелось в безумном, страшном танце. Вспыхнул сухой мох, пламя перекинулось на чумы. Олени в загоне бесновались, ломая рога о жерди. Таю сковал ледяной, животный ужас. Она не помнила, как ноги сами принесли её к загону для телят, как она забилась под тяжелые ивовые ясли, в самую грязь, закрыв голову руками. Она хотела закричать, позвать маму, позвать Бога — но горло сдавило железным обручем, воздух застрял в груди, и вместо крика наружу вырвался лишь жалкий, задушенный хрип.

Чужие подошли к яслям. Тая видела сквозь щели их грязные, пахнущие соляркой сапоги.

— Глянь, девка тут. Мелкая совсем. Живая. Что с ней делать? Свидетель, — сказал один, лениво сплевывая на землю.

— Да какой свидетель, она от страха дар речи потеряла, только хрипит, как подрезанная, — ответил человек с золотым зубом. Он наклонился, схватил Таю за воротник и с силой выдернул наружу. Лицо его было близко, от него пахло чужой, городской водкой и табаком. — Ладно, руки марать не будем. Брось её в протоку, сама доплывет, если выживет. Богу душу отдаст — греха меньше.

Удар тяжелого ружейного приклада пришелся в темя. Мир вспыхнул белым, а затем погас. Последним, что она запомнила, был ледяной обжигающий холод воды, сомкнувшейся над головой, и падающая в костер медная иконка Николая-угодника.

Она выжила. Вода вынесла её на отмель, тундра укрыла, а Корга приняла. Но тот страшный щелчок, после которого отец упал в бруснику, навсегда запер её голос внутри. Три года она носила эту мертвую тишину в себе, как гробовую доску.

Так Корга собирала свои «камни». Каждый из них бежал от своего внутреннего хаоса, уверенный, что человеческое общество — это источник зла.

И только Богу было угодно запереть их на одну зиму вместе, чтобы доказать: спасение человека возможно только через другого человека.

Храм на берегу.

На самом северном мысу Корги, там, где песчаная коса обрывалась в свинцовые воды океана, возвышался старинный деревянный храм. Время и полярные ветры выбелили его бревна

до цвета старой кости, отчего в сумерках он казался призрачным кораблем, выброшенным на берег.

Этот храм в честь Смоленской иконы Божией Матери — Одигитрии, Путеводительницы — срубили еще поморы в позапрошлом веке. Избалованный городскому глазу он показался бы суровым и неприветливым: без золоченых куполов, вытянутый вверх, со строгой клинчатой кровлей и одиночной главкой, покрытой осиновым лемехом. Лемех этот от соленой морской влаги и морозов приобрел редкий, благородный серебряный отлив.

Храм стоял заброшенным уже больше полувека. Когда-то вокруг него шумело богатое село, звенели колокола, призывая рыбаков к молитве перед выходом в море, а у причала разгружали карбасы с навагой и треской. Но в безбожные тридцатые годы священника увезли на материк в черном катере, колокола скинули в протоку, а здание превратили в колхозный склад для засолки рыбы. Потом иссякла и рыба, поселок опустел, и церковь осталась один на один с Ледовитым океаном.

Внутри храма гулял ветер. Дверь давно сорвало с петель, окна были заколочены серыми досками, сквозь которые тонкими иглами пробивался зимний свет. На полу лежали надутые метелью сугробы, похожие на застывшие волны. От прежнего убранства не осталось почти ничего — лишь в высоком иконостасе, куда не дотянулись руки разорителей, темнели пустые глазницы вырезанных киотов.

И всё же, несмотря на запустение, храм не казался мертвым. Сами бревна, казалось, пропитались за сотни лет людскими слезами, молитвами о спасении в штормах и тихой благодарностью. Церковь возвышалась над косой как огромный маяк веры, безмолвный свидетель того, что даже на самом краю земли, где человека оставляет всякая надежда, остается Тот, Кто помнит о каждом.

Внутри Смоленского храма время словно сгустилось, превратившись в осязаемую, благоговейную тишину. Несмотря на десятилетия запустения, избыточная сырость колхозного засолочного склада не смогла до конца вытравить из столетней лиственницы тонкий, едва уловимый аромат ладана, воска и сухой брусники. Этот запах, смешанный с едкой океанской солью, составлял саму душу храма — душу старого воина, израненного, но не предавшего своего Командира.

Каждое бревно здесь было отесано вручную, с молитвой. В углах, где бревна сходились в лапу, до сих пор виднелись четкие следы поморских топоров. Храм дышал вместе с океаном. Когда над островом разыгрывался шторм, стены не скрипели, а глухо, мощно гудели, словно гигантский деревянный орган, вторящий басам морской стихии.

Внутреннее устройство храма Одигитрии хранило строгую простоту. Притвор, где когда-то каялись те, кого не допускали к причастию, теперь был занесен сухим, как соль, снегом. Дальше открывалось среднее, молитвенное помещение. Из-за вытянутых вверх пропорций потолок — так называемое деревянное «небо» — уходил в густую темноту. Это «небо» было каркасным, разбитым на двенадцать секторов-балок, сходящихся к центральному замковому кольцу. На этих досках еще угадывались блеклые, полустертые лики архангелов в византийских воинских доспехах. Краска местами вздулась и облупилась от морозов, но суровые, широко раскрытые глаза небесных сил продолжали неотрывно смотреть вниз, на пустой дощатый пол.

Иконостас, лишенный святынь, напоминал брошенную крепость. Пустые Царские врата, сорванные с петель и аккуратно прислоненные кем-то к стене алтаря, открывали взору оголенный престол — простой деревянный куб, отесанный из цельного пня. На нем не было ни индитии, ни креста, но именно над ним, в вышине алтарного полукружья, сквозь щель в кровле падал единственный луч остывшего солнца. В этом луче медленно кружились искрящиеся снежинки, похожие на невидимый ангельский литургический хор.

Благодать здесь не являла себя в пышности или громких звуках. Она жила в этой кристальной, звенящей чистоте заброшенного места. Здесь не было места человеческой фальши.

Приходя сюда, чувствовалось, как умолкает внутренний бунт и наступает примирение со всей несправедливостью жизни. Храм, переживший разрушение человеческое и ярость ледовитых бурь, словно говорил без слов: «Всё проходит, и скорбь твоя пройдет, а вечность — останется».

Главным стражем и одновременно самой уязвимой частью церкви была её входная дверь. Сбитая из тяжелых, плах лиственницы, кованная огромными, покрытыми рыжей ржавчиной гвоздями, она держалась на одной верхней петле. Нижняя давно лопнула, съеденная солью. Дверь просела, углубившись нижним краем в источенный песок порога. Она была настолько старой, иссохшей от полярных солнц и промороженной, что казалась живым, измученным существом. Под ударами прибойной волны, когда океан внизу, под мысом, с грохотом ворочал многотонные валуны, дверь содрогалась. От каждого этого глухого удара стихии она испускала жалобный, сухой треск, словно умоляла пощадить её старые кости. Казалось, еще один сильный прилив, еще один яростный аккорд шторма — и этот древний щит окончательно рассыплется в серую труху, впустив океан прямо в святилище. Но вопреки всем законам земного тления, вопреки штормам, гнилости и давлению ледяных масс, дверь стояла. Она не сдавалась. Израненная, иссеченная вековыми метелями, сорванная с половины своего крепления, она продолжала прочно закрывать вход в заброшенную обитель. Океан бился о скалы, ветер выл в пустотах крыши, а этот древний лиственничный щит держал оборону, точно зная: пока он стоит на пороге, святыня внутри остается неприкосновенной.

Точно так же, вопреки всем законам человеческого сокрушения, держались и три израненные души, которых ледяное дыхание Корги заперло на песчаной косе. Их прошлая жизнь на материке рассыпалась в прах, но невидимая сила продолжала удерживать их на самом краю земного бытия, не позволяя окончательно упасть в бездну отчаяния. Каждый из них, подобно этой старой церкви, нес в себе запустение и внутренний надлом, но под покровом полярной ночи в них теплилось то, что человеческий суд и жестокость не смогли уничтожить до конца.

Часть I. Клеймо сиротства

Зимняк рухнул в третью ночь после Покрова Пресвятой Богородицы. Навалившийся с Ледовитого океана шторм — яростный, дышащий соленой небытью и мокрым снегом — взломал неокрепший лед на протоке, разметал тяжелые лиственничные бревна настила и наглухо забил русло ледяным крошевом. Корга, узкая песчаная коса, усаженная десятком серых, вросших в вечную мерзлоту изб, окончательно превратилась в остров. Большой мир, заявлявший о себе раз в месяц гулом вертолета или далеким дымком редкого теплохода, отрезало до самого мая.

На косе осталось трое: бывший школьный учитель Александр Андреевич, спившийся инженер-метеоролог Семен и немая местная девушка Таисья.

Александр Андреевич чистил печь. Черная, невесомая сажа въедалась в глубокие трещины на его ладонях. Ему было под пятьдесят. Три года назад, похоронив жену и тринадцатилетнюю дочку, погибших в нелепой городской аварии по вине пьяного чиновника, он раздал книги, продал квартиру и уехал на север. На самую окраину человеческого присутствия, где твердая земля истончалась и переходила в ледяную воду. Здесь он искал не покоя — забвения. Но память, словно старый осколок снаряда, застрявший в теле, неостановимо ныла к каждой непогоде. Его побег был попыткой уйти от гнева, от страшного, грызущего изнутри ропота на Бога: «За что? Почему они, а не я?»

В низкое, заиндевевшее окно постучали. Сухой, дробный стук заставил учителя вздрогнуть. На пороге стояла Таисья. Из-под натянутой до самых бровей старой шерстяной шали испуганно блестели темные, глубокие глаза. Она отчаянно замахала руками в пуховых рукавицах, показывая в сторону реки, а затем прижала ладони к щеке — старый, понятный без слов знак большой беды.

У реки уже стоял Семен. От него, как всегда, пахло перегаром, кислым хлебом и сырой овчиной. На заросшем жесткой бородой лице горели лихорадочные, мутные глаза. Он безумно смотрел на бурлящую кашу из льда и воды, где еще вчера была их единственная ниточка к материку. В руках он сжимал пустую бутылку, словно оружие.

— Всё, Андрееч, отбегались! — хрипло, надсадно закричал Семен через рев ветра. — Отрезало начисто. Рации хана, вчера генератор залило, движок словил клина. Мы в капкане, понимаешь? В глухом заколоченном склепе! Никто не прилетит, пока лед в океане не встанет в три обхвата!

— Не волнуйся, Семен, — тихо, но твердо сказал учитель, поправляя воротник старого пальто. — Склад с мукой сухой, керосин в бочках есть. Сети целы. Перезимуем. Господь не оставит.

— Перезимуем?! — Семен зло сплюнул под ноги, в грязную пену. — Ты святошу из себя не строй, учитель! Мы тут все смертники, все до единого. Кто добровольно на Коргу жить полезет? Ты от чего сбежал, а? Думаешь, я не знаю, что ты от своего горя забился под эту корягу?

Александр Андреевич ничего не ответил на этот выпад. Он лишь крепче перехватил рукоять деревянной лопаты. Семен не знал, да и не мог знать, какая тектоническая тишина стояла теперь в душе бывшего учителя. Первые два года на Корге Александр Андреевич действительно жил как в склепе — глухой, ожесточенный, запертый в своей обиде на всех и вся. Он не молился, не смотрел на заброшенную Смоленскую церковь, а лишь глубже зарывался в сугроб своего одиночества.

Всё изменилось ровно год назад.

В ту ночь полярная куржа так густо облепила стекла, что изба казалась замурованной изнутри белым войлоком. Этот дом, ставший последним ковчегом для трех израненных душ,

когда-то принадлежал председателю процветавшего здесь рыболовецкого колхоза. Срубленный еще в довоенные годы из отборной, просмоленной лиственницы, пятистенок стоял на высоком песчаном подклете, словно капитанский мостик, приподнятый над вечной мерзлотой и береговыми штормами. Время окрасило его наружные бревна в суровый, свинцово-серый цвет, но внутри дом оставался крепким, монолитным, не поддающимся ни лютым январским «хиусам», ни давлению вековых снегов.

Сердцем дома и его главной защитой была огромная русская печь, сложенная посреди пятистенка из тяжелого привозного кирпича. Она не просто грела — она разделяла пространство дома на три изолированные, глухие комнаты, выходившие дверями в общую просторную кухню. Стены-перегородки были толстыми, бревенчатыми, проконопаченными сухим тундровым мхом, что позволяло каждому запереться в своем одиночестве, как в отдельной камере.

На общей кухне, служившей суровым преддверием к их уединению, стоял массивный дощатый стол, сколоченный из плавника. Поверхность его была испещрена глубокими шрамами от ножей и топоров — следами прежней, шумной рыбацкой жизни. У окна стояла длинная лиственничная лавка. На стене, прямо над столом, на ржавом гвозде висел старый отрывной календарь, застрявший на дате трехлетней давности, и тускло поблескивала жестяная керосиновая лампа со слегка закопченным стеклом.

В первой комнате, принадлежавшей учителю, царил строгий, почти монастырский порядок. Узкая железная кровать с серым солдатским одеялом, колченогий табурет и стопка спасенных из прошлой жизни тетрадей. В самом углу, на божнице, устроенной из обрезка доски, покоилась потемневшая, треснувшая от сырости икона святителя Николая Чудотворца. Перед ней всегда стояла жестяная баночка из-под чернил, приспособленная под лампаду. Это был единственный угол в доме, где не пахло запустением; здесь пахло сухой чагой и старыми книгами.

Вторая комната, за печью, была прибежищем Семена. Сюда почти не проникал дневной свет из-за наглухо забитого старой фуфайкой окна. Там пахло перегаром, прокисшим тестом и сырой, невыделанной овчиной. На грязном деревянном топчане валялись рваные бушлаты, под которыми метеоролог прятался от своих ночных кошмаров. На полу в углу темнела батарея пустых бутылок, а на маленьком прикроватном столике лежала сломанная тангента от сгоревшей рации — символ его окончательного отрыва от человечества. Это была берлога человека, который сознательно заживо хоронил себя в темноте.

Третья комната, самая маленькая, с окном, выходящим прямо на серебряный лемех Смоленского храма, досталась Таисье. Она обустроила её по-таежному, чуждаясь мужского быта. Вместо кровати на полу лежал толстый слой пушистых оленьих шкур, источавших густой запах тундры и дыма. С бревенчатого потолка свисали пучки засушенного брусничного листа, зверобоя и болотного багульника — её единственное лекарство и защита. На подоконнике лежали обточенные океаном белые камушки и птичьи перья, разложенные в строгом, понятном только ей порядке.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.